



БЕСЕДЫ
С ОЛЕГОМ ПОГУДИНЫМ

Истоки и пенаты

Идея записать и изложить в печатном виде хотя бы пунктиром канву биографии исполнителя носилась в воздухе. Многочисленные вопросы зрителей и слушателей Олега Погудина с просьбой рассказать о себе сопровождают каждое его выступление и по сей день. И мы с моим собеседником быстро пришли к согласию именно этому принципу и следовать.

Одним из немаловажных препятствий была проблема выбора верного тона, той безошибочной тональности будущих разговоров, вне которой все сказанное отдавало бы лукавством. Не сговариваясь меж собой, мы нашли точный ключ наших бесед в переписке русских классиков позапрошлого века. В последние месяцы жизни Федор Михайлович Достоевский, только что завершивший свой титанический трехлетний труд над «Братьями Карамазовыми», в письме от 4 ноября 1880 года признавался Ивану Сергеевичу Аксакову: «...возможно ли быть не самым собою, не искренним? Каков я есмь, таким меня и принимайте, вот как бы я смотрел на читателей. Заволакиваться в облака величия... есть неискренность, а неискренность даже самый неопытный читатель узнает чутьем». Эта нота исповедальности и стала путеводным вектором наших встреч, пусть и не частых.

Первая из них случилась три года назад дома у Олега, в Санкт-Петербурге, другая – годом позже, во время его первых польских гастролей. Последующим беседам выпало статься в Москве. Бесспорно, плотный гастрольный график певца в стране и за рубежом ощутимо препятствовал осуществлению задуманного. Но явно имели место и иные препоны.

В какой-то момент Олег признался: причиной затянувшейся паузы оказался не поспешный выбор им собеседника, как мне уже начало мниться, а внутренний императив в его отношении к слову как таковому...

Я действительно мучительно переживаю, когда сталкиваюсь с какой-то неточностью в изложении фактического материала. Поэтому то, что многим кажется несущественным: «Не все ли равно, как сказать – так или иначе», - для меня очень важно само по себе. Ведь это как своего рода проба. То, как говорится об истории человеческой жизни, о взаимоотношениях между людьми, становится для меня основополагающим. И никакому легкомыслию здесь места просто нет. Поэтому я весьма нелегкий в общении человек. И легким мне быть не дано. При том, что я могу терпеть человеческие слабости. Да, могу быть не снисходительным к ним, а, скорее, сочувствующим. Причем не к слабостям, а к самому человеку, их носителю. Но вот безответственности по отношению к слову я не могу ни принять, ни простить. Действительно, для меня самого эта вещь поразительная и необъяснимая. Таков уж склад характера, свойство натуры...

Слова эти не были невольным намеком в мой адрес. Они, скорее, способны были поразить точностью формулировок, выношенностью самой мысли. И все-таки они напомнили мне один казус, имевший место три года назад. Предваряя выступление Олега Погудина на IV фестивале архивного кино «Белые Столбы – 2000» с показом фильмов «Сентиментальный романс» и «Сентиментальный романс – 2000», говоря о предыстории и обстоятельствах создания первого из них, я, как это нередко случается в устной речи, допустил досадную оплошность, которой сам и не заметил. Более того, ошибку эту пропустила



одна из центральных газет (давно выходящая без эпитета «Советская»), так и напечатав слово в слово мою преамбулу за подписью своего фестивального обозревателя. Зато Олег Погудин перед самым выходом на сцену – до того ли ему было! – оговорку подметил, успев тогда же тихонько мне шепнуть: «Из Крыма в 1920 году уходил все-таки Врангель, а не Колчак...» При всей деликатности этого замечания, я, как говорится, заслужил... Кстати, первое впечатление от Олега Погудина на подмостках и в обычной жизни сводилось к нечастому ныне заключению: «В нем чувствуется школа!» потому-то наш разговор и начался со школы, с самых азов образования.

Я и сейчас могу сказать, что учили нас замечательно! Школа была очень хорошая, с учителями самого высокого уровня. Гуманитарные предметы преподавались там особенно хорошо. Я имею в виду литературу, язык, историю. Подготовка была настолько серьезной, что потом, в институте, я позволял себе манкировать лекции по советской истории и философии – это был уже финал советской эпохи, последние ее годы, – сдавая экзамены по ним на «отлично». И это, разумеется, благодаря школе. Педагоги, снова скажу, там были очень серьезные – и люди замечательные, и преподаватели отменные.

Разговор наш уже на первом этапе перешел к родным пенатам Олега, и я любопытствовал, где же находится его замечательная школа.

Не считая третьего класса – одного года, проведенного мною по семейным обстоятельствам в Орле, – я учился в одной и той же красносельской школе № 270. Она тогда была лучшей в районе.

А пенаты мои – Красное Село. Я с шести лет, когда родители получили там квартиру, жил под Петербургом, в Красном Селе. Сейчас все знаменитые питерские пригороды – и Пушкин, и Павловск, и Петродворец, кроме Ораниенбаума и Гатчины, – влились в черту Санкт-Петербурга, оставаясь при этом городами-спутниками. А Красное Село давно уже входило в его состав, оставаясь при этом маленьким провинциальным городком со своей инфраструктурой, двумя школами и двумя предприятиями. И там почти все друг друга знали. В годы моего детства между Питером и Красным Селом оставалось обширное, мало заселенное пространство километров в пять или десять, своего рода естественная граница. Город жил своей жизнью, а Красное Село своей. И до самого отрочества, пока мне не захотелось выйти в большой мир, в Красном Селе мне было по-домашнему уютно и тепло.

Порою на концертах Олега в Санкт-Петербурге и в Москве доводилось увидеть – скорее, догадываясь, чем зная наверняка, – его родителей, Людмилу Васильевну и Евгения Владимировича Погудиных, ничем не выделявшихся среди массы зрителей в зале. И вопросы публики к певцу нередко касались их самих, семейных корней и предков, а также довольно редкой фамилии – Погудины.

Родители мои оба инженеры, учились в МВТУ имени Баумана в Москве. В Питер приехали по распределению. Мама уже здесь заканчивала Военно-механический институт. А вообще все родственники достаточно широко рассыпаны по территории бывшего Союза. Потому-то в детстве я ни одного лета в городе не прожил. Летнее время проводил в основном у бабушки с дедушкой,



маминых родителей, на Украине, либо у родных со стороны отца в Орле, либо у родственников в Крыму. Но украинских корней во мне почти нет, разве что чуть-чуть. Кроме русских, предки мои еще и белорусы. Оттуда, из Белоруссии, обе бабушки – обе, кстати, учительницы: одна из Полесья, другая – из Гомельской области. Вообще про семейную историю я мог бы говорить долго, ведь это интересно. Крестьянские корни во мне едва ли не на сто процентов, с совершенно разных сторон и концов Российской империи.

Существуют разные фамильные легенды – только начни их рассказывать! Скажу лишь об этимологии фамилии. Сама фамилия Погудиных восходит к слову «гудок». Я долго считал, что гудок – это дудка. На самом же деле (я недавно прочел) гудок – это народная скрипка, а гудочки, соответственно, люди, которые на этих скрипочках играли. А «погудка», по Далю, – еще и песенка!

И так уж исторически сложилось, что в семьях Погудиных, как правило, появлялся кто-нибудь вокально одаренный. Мой отец, к примеру, поет, он не выступает профессионально, но голос у него красивый, и поет он хорошо. Его двоюродные братья, мои дядя, профессиональные певцы. Так или иначе Погудины всегда были люди поющие, с хорошими голосами.

Но жизнь по-разному, а порой и причудливо поворачивается. Когда я только начинал свою исполнительскую карьеру, мне не раз доводилось слышать совершенно нелепые вещи, что надо, мол, взять себе какой-нибудь звучный псевдоним. Мне это казалось отчаянной дикостью. Тогда я еще не мог мотивировать свое к этому отношение. А теперь могу. Но сейчас мне, напротив, говорят: «Надо же, это ваша настоящая фамилия, а звучит как псевдоним!..»

Под рассказ Олега о его корнях мне вспомнились недавно еще многочисленные истории о том, как представители новоиспеченной российской формации на протяжении 90-х годов лихорадочно скупали фамильные реликвии русских аристократов, вплоть до фотографий, выдавая последних своим гостям за собственных предков. Про обедневших аристократов «новые русские» вряд ли слышали.

Здесь также стоит вспомнить, что великий Лукино Висконти (равно как и не менее великий Луис Бунюэль) ненавидел буржуазию во всех ее проявлениях и своего презрения к ней не скрывал. Герцог по крови, Висконти был убежден, что любую национальную, да и мировую культуру обогащают два пласта – аристократия и крестьянство. И своего Леопарда из одноименного фильма, князя Фабрицио Салину, он почитал не меньше, чем Розарию Паронди, итальянскую крестьянку, героиню прославленного фильма «Рокко и его братья». И в этой системе культурных ценностей буржуазии – настоящей ли, будущей – места, по Висконти, не оставалось. Но вернемся к нашему разговору.

Когда начинаешь заниматься чем-то всерьез и вплотную, мелочей, как правило, не бывает. В печатных материалах и интервью с исполнителем меня, среди прочего, весьма заинтриговала не раз помянутая семейная реликвия – запись певца с первой пробой голоса на старой магнитофонной ленте. Мне представилась эта усохшая на бобине пленка. Давно вышли из употребления магнитофоны с бобинами, которые километрами накручивали бесценные записи эпохи. Наверняка первая запись Олега была сделана на старой магнитофонной пленке ломкого типа-2. Запись, которую я никогда не слышал...



Действительно, когда мне было года три-четыре, родители сделали для себя и сугубо семейного круга первую мою запись. Естественно, я не помню момента, когда это записывалось. Наверняка, это был тот случай, когда ребенка уговаривают, а он отказывается, ломается, а потом, дурачась, в открытую начинает играть. Там, на пленке, была записана одна песенка из детского сада, которую с нами, по-видимому, разучивали.

Пленке этой тридцать лет, и, когда слушаешь ее уже взрослым, поражает, как маленький ребенок, напевая песенку, смысла которой и не понимает, весьма точно интонирует. Наверняка я копировал то, что звучало тогда по радио.

А вот другую, популярную в те годы песню я действительно перепевал, очень свободно и даже озорно. Пел я, весело переиначивая слова. Песня, кажется, называлась «Гололед». Как это бывает с ребенком, когда он не понимает текста и берется его переделывать, я по-своему его интерпретировал. Помню концовку песни: «А мне одной мешает зима... может быть, я виновата сама...» Но я решительно пел: «А мне одной мешает диван...» Так как диван – это нечто конкретное: он предметен и потому понятен. Может быть, мне его тогда было не обойти. А почему может мешать зима – было совершенно не постижимо...

Действительно непостижимо... Сама же запись теперь представляет не только семейную, но и архивную ценность. Являясь сугубо фамильной реликвией, пленка эта в полном смысле слова оказалась точкой отсчета будущей творческой биографии. Было как-то неловко спросить собеседника, разделяет ли он это суждение. Но подробности самого рассказа создали впечатление, что Олег согласен со мной насчет значимости той пленки. Причем ничуть не переоценивая певческих данных трехлетнего «певца». Чуть было не вырвалось – птенца...

В каждом человеке есть, конечно, вещи изначальные, прирожденные. Ты можешь, и вправе, прислушиваться к мнению окружающих, верить, что обладаешь определенным певческим чутьем. Верить, поскольку себя самого со стороны, как правило, не видишь и не слышишь – это объективная данность. Но вот эта детская запись – в каком-то смысле первое вещественное доказательство того, чем ты наделен. И в том нет никакой твоей заслуги, это уже из разряда того, что тебе дано, с чем ты приходишь в жизнь.

Наверняка, певческие данные трехлетнего певца какому-нибудь особо проницательному слушателю уже тогда могли показаться если и не значимыми, то несомненными. Но последующую жизнь моего собеседника, как и любого из нас, определяло не только врожденное начало, но и благоприобретенное... Как с детства влияла на него обитель, в которой довелось расти? Что он знает о ней, даже не обязательно в пределах собственной биографии? Какое оно, Красное Село, в котором мне, кстати, побывать ни разу не довелось?..

Именно в Красном Селе Петр I основал в 1714 году бумажную мануфактуру. Вокруг нее стало складываться будущее городское поселение, вобравшее в себя и коренных жителей. Эта местность имела свое историческое название – Дудергоф, Дудергофские высоты, которые знамениты уже тем, что являются самой высокой топографической точкой низинного Санкт-Петербурга.

На развороте:

Детский хор Ленинградского радио и телевидения, его руководитель Юрий Михайлович Славнитский и юный солист хора Олег Погудин – в первом ряду справа



Существует различная этимология самого названия Дудергоф. Есть вариант русского его происхождения: Дудоров погост, Дудорово село, чье существование датируется еще XV веком. Позднее эти земли были захвачены шведами и переименованы. А Петр их принял уже тогда, когда Дудорово стало Дудергофом и после Северной войны Россия вновь вышла к Балтике. Земли эти вместе с Саарской мызой – будущим Царским Селом – впоследствии были подарены Екатерине I.

Именно там был разбит знаменитый Дудергофский парк, ставший очень популярным. Этому способствовал ландшафт Красного Села, ландшафт Дудергофских высот, придававших парку большую живописность, нежели в Царском Селе. В Красном Селе, через которое проходил Прибалтийский тракт, а сейчас проходит Тамнинское шоссе, расквартировывались летние лагеря гвардейцев. Там в разное время служили Суворов, Лермонтов, Великий князь Константин Константинович Романов. Там пел Шаляпин. Места эти действительно связаны с великими именами. Парк, впрочем, сильно пострадал в годы войны и, в отличие от Пушкина, Павловска, Петергофа и Гатчины, не был восстановлен.

Другой достопримечательностью Красного Села до сих пор остается его особый климат, именно микроклимат. Там очень чистый воздух...

После такого обстоятельного рассказа не могу не спросить моего собеседника, что же было причиной хоть и кратковременного, всего лишь на год, но отъезда из Красного Села. Что это повлекло за собой?

Так уж вышло, что один год я прожил и отучился в Орле. Это было время, когда моему младшему брату Игорьку и двух лет не было, а папа стал рабо-

тать над кандидатской диссертацией. Наверняка, с двумя детьми было достаточно сложно, и меня отправили к бабушке с дедушкой, родителям отца.

Именно тогда, в третьем классе, живя в Орле, я начал заниматься баяном. Для начинающего музыканта баян – не самый удобный инструмент. Лучше всего рояль или скрипка. Как инструмент скрипка, наверное, лучше других воспитывает чувство интонации, чувство звука. Рояль же – универсальный инструмент, который как бы гармонизирует общее музыкальное развитие. А баян – это инструмент достаточно специфический и определенной жанровой принадлежности. Но все вышло именно так, а не иначе.

А между тем, в публикациях об Олеге Погудине, коих за последний десяток лет, набралось изрядное количество, почти не упоминается музыкальная школа, которую будущий исполнитель успел закончить. Возможно, в том и не было никакого умысла. Скорее всего, интервьюеры не успевали про нее спросить, а то и вовсе не знали.

В музыкальную школу я поступил по возвращении из Орла в 78 году и закончил ее в 83-м. Находится она в Красном Селе и существует до сих пор – вечерняя музыкальная школа. Меня приняли на экспериментальное дирижерско-хоровое отделение. Это уже сейчас я понимаю, что научить ребенка хоровому дирижированию вряд ли возможно. Сначала надо дать определенные навыки взаимоотношений с музыкой, лучше всего обучив игре на музыкальном инструменте, что и входило в обязательную программу обучения. Поскольку я уже год занимался на баяне в Орле, я выбрал баян, а не пианино, купить которое тогда возможности не было.



Откровенно говоря, не могу сказать, что в музыкальной школе я учился хорошо, имея в виду инструмент... Что касается других специальностей – сольфеджио, к примеру, – с этим все было более-менее нормально, но с точки зрения профессионального исполнительства баяном я так и не овладел. В общем, в совершенстве я не овладел никаким музыкальным инструментом. Почему? Наверное, потому, что мне по складу характера необходим, если не моментальный, то очень быстрый результат.

При всем том музыкой пришлось заниматься достаточно основательно как в музыкальной школе, так и в институте, где был общий курс фортепиано. Там и дисциплины были очень серьезные – и практические, и по теории музыки. Это была уже ступенька к будущей профессиональной деятельности, о которой, к слову, я тогда еще и не помышлял.

Мы подошли в разговоре к тому, о чем Олега Погудина спрашивают все – о начале собственно певческой его деятельности...

Азы именно певческой школы – и азы достаточно весомые – я получил в Детском хоре Ленинградского радио и телевидения. Я пришел туда осенью 79 года, буквально через месяц став солистом хора. Там, кстати, я и получил свой первый гонорар за пение, в десять лет. Это уже был профессиональный коллектив, который давал другое мироощущение. Свою профессиональную певческую жизнь я могу отсчитывать именно от этого периода. Поэтому, когда я слышу в свой адрес про «молодого певца» или что-то вроде: «Вы еще не так давно работаете», то должен сказать со всей ответственностью, что работаю на сцене, причем в больших и лучших оте-

чественных залах, с девятилетнего возраста, будучи еще учеником музыкальной школы.

Вынужден все же вступиться за коллег, писавших и пишущих про Олега Погудина, и возразить собеседнику, что его 35-летний возраст (мой собеседник родился 22 декабря 1968 года) молодости не отменяет. А в творческих кругах понятие «молодость» вообще либерально донельзя. Зато певческий стаж, укладывающий в целую четверть века, это, как ныне говорят, «внушает, внушает...».

Как ни близко Красное Село расположено к метрополии, но где именно проходили занятия Детского хора Ленинградского радио и телевидения? Запомнились ли, к примеру, какие-то бытовые подробности, житейские приметы того, минувшего времени?

Детский хор Ленинградского радио и телевидения находился в самом центре города, в Радиокomiteте, на Итальянской улице, которая тогда называлась улицей Ракова. Для меня эти поездки – а приходилось ездить три раза в неделю, – были еще и выездом в любимый мною Питер.

Добирался из дома я самостоятельно автобусом и метро, часа примерно за полтора. Занятия в хоре начинались в шесть вечера и длились до восьми. И также один я возвращался домой часам к десяти вечера. Но времена в этом плане стояли благословенные: никто тогда не боялся – ни я, ни родители...

Не могу здесь не попросить Олега суммировать сказанное и попробовать оценить эту важную жизненную веху в контексте его биографии.



Да, с самого детства сложилась цепь определенных случайностей, которые уже потом, значительно позже, стали для меня этапами судьбы. Ведь солистом детского хора Ленинградского радио и телевидения я стал, проучившись всего год в музыкальной школе. Хор и музыкальная школа так и шли абсолютно параллельно, как бы совершенно не взаимосвязано. К тому же хор для меня закончился годом раньше музыкальной школы. Но когда вспоминаешь все это сейчас, то и дирижерско-хоровое отделение не случайно, и сам хор тоже...

Действительно, в детстве вся моя жизнь была связана с хором. Ведь я в полном смысле слова был воспитан Детским хором. Благодаря ему, я с детства понял, что такое успех солиста хора. Какая колоссальная работа осуществляется вокруг тебя помимо тебя самого. И уже тогда я был пленен красотой коллективного творчества. Ансамблевое пение и по сей день остается для меня огромной радостью, хотя я солирующий певец и тембр мой не смешивается в ансамбле. В ансамблевом пении я должен в чем-то ограничивать свои возможности, гораздо точнее вести фразировку и держать на слуху разные другие тембры участников ансамбля.

Но в конечном счете, благодаря музыкальной школе и Детскому хору я получил, и получил вовремя, некую инъекцию против, иначе не скажешь, наглой агрессивности современной поп-культуры, когда певец на нынешней эстраде абсолютно единоличен. Я – и больше никого и ничего. Единоличен и при этом безответственен...

Не удержусь, чтоб – в очередной раз – низко не поклонится моим учителям музыки в детстве, которые, надеюсь, на всю мою жизнь застраховали меня от подобной безответственности.

Кстати, лет за восемьдесят до того великий русский теоретик литературы Михаил Бахтин в одной из незавершенных своих эстетических работ 1920-х годов, называвшейся «Смысловое целое героя», записал: «...петь голос может только в *теплой атмосфере*, в атмосфере возможной хоровой поддержки, принципиального *звукового неодиначества*». Причем, добавлю уже от себя, эта универсальная максима приложима как к коллективному творческому процессу, о котором говорил Олег, так и к восприятию его результатов зрительным залом.

Но вернемся к непосредственному предмету нашего разговора.

Итак, музыкальная школа в Красном Селе и Детский хор Ленинградского радио и телевидения оказались не просто возрастными вехами музыканта-школяра, заполненными необходимыми профессиональными штудиями, но и чем-то значительно большим, если спустя двадцать – двадцать пять лет исполнитель вспоминает и говорит о них в подобном, редком ныне ключе. А что при этом приходилось петь в хоре, с чем выступать? Каково было десятилетнему Олегу Погудину на большой сцене?

Пение в хоре оказалось для меня гораздо более результативным и значительным, чем выступления на школьных концертах. Именно там я впервые столкнулся с публикой в таком большом масштабе. Едва став заниматься всерьез, я снискал – в десять-то лет! – сценический успех. Начальные профессиональные навыки, полученные в музыкальной школе, развивались в хоре на самом, кстати, высоком уровне благодаря требованиям его руководителя Юрия Михайловича Славнитского, память о котором мне чрезвычайно дорога.



Что касается репертуара, который приходилось исполнять, то в нем были песни, написанные специально для хора, в том числе, естественно, и пионерские песни недавней нашей эпохи. Но был и иной репертуар. Из русских камерных песенных произведений я впервые тогда исполнил «Ты, соловушко, умолкни...» на музыку Глинки. Исполнялись и Бортнянский, и Гендель, и Перголези, а также Прокофьев и Шостакович.

Если в детстве вас не обошел, к примеру, Гендель, то в зрелом возрасте вы к нему неизбежно вернетесь. Так, лет в двадцать пять я взял на себя смелость и предложил моему постоянному аккомпаниатору Мише Радюкевичу переложить Генделя на гитарный лад. Так генделевская ария вошла в наш нынешний репертуар. Но как бы там ни было, Генделем я обязан Детскому хору Ленинградского радио и телевидения. Так что детский репертуар был и таким...

Коль скоро речь сама собой зашла о гитаре, то разговор не мог не коснуться и ее. Ведь зрители концертов Олега Погудина часто видят его самого на подмостках с гитарой. Когда это началось?

Когда возникла гитара? Лет в четырнадцать-пятнадцать... Думаю, все же в четырнадцать лет. Вне каких бы то ни было занятий, самостоятельно. Но это было достаточно несерьезно, мне просто показали аккорды на гитаре и все. Типичный возрастной эпизод. Нельзя сказать, что я овладел инструментом. Я же не играю на гитаре как профессиональный музыкант. Это касается не только меня, но и многих нынешних исполнителей, сопровождающих свое пение аккомпанементом на гитаре...

Между тем, мы в своих беседах как-то незаметно подошли к иным возрастным вехам нашего героя. Так уж совпало, что к середине 80-х страна также подходила к некому важному рубежу. Были ли ощутимы Олегом будущие перемены? Пусть и не напрямую, опосредованно, как своего рода тектонические толчки? Ведь жизнь каждого из нас так или иначе подлежит истории и, обращаясь к прожитому, пытаешься взглянуть на него отстраненно и, насколько это возможно, стремишься вынести определенные суждения. Разумеется, у разных людей они не совпадают...

Естественно, каждый из нас сравнивает время прошедшее и нынешнее. И, конечно же, могут быть разные трактовки исторического материала. Я убежден, что нас учили хорошо, но учили определенной, единственной концепции истории. А поскольку половина моей жизни прошла в ту, недавнюю эпоху, я помню ее достаточно отчетливо. И нашего воспитания и образования не мог не коснуться существовавший тогда идеологический прессинг.

Если взять философию, к которой у меня особое влечение, то нельзя говорить о ее изучении всерьез ни в школе, ни в институте. Бесспорно, наше воспитание было изуродовано советской идеологией. Как и всем, мне приходилось заучивать официальные мифы и легенды. Потом, после института, возникли огромные возможности в плане пополнения и совершенствования образования, оказалась доступной масса книг, появились средства их покупать, но времени их прочесть уже, увы, не стало. Помню, как залпом я прочел философа Владимира Сергеевича Соловьева, первые тогда опубликованные его труды. Но для глубоких занятий времени у меня уже не доставало. А ведь знакомство с философией исходило именно из глубокого интереса к ней,



ником не было навязано. До сих пор чувствую и вкус, и тягу к тому, чтобы прочесть что-то, научиться чему-то, но, увы, в свое время это не удалось, а теперь, наверное, и не удастся. Будучи человеком более художественного, чем умозрительного склада, я, к сожалению, так и не научился выражать свою мысль так, как мне бы этого хотелось...

Насколько я могу судить, круг чтения моего собеседника отнюдь не ограничен названным именем. Среди книг в домашней библиотеке Олега я заметил васильковый переплет первого отечественного издания «Записок» отца Александра Ельчанинова, русского священника времен первой эмиграции во Франции. Впервые выпущенная на родине чуть более десяти лет назад, эта тоненькая книжечка даже в «перестройку» с ее книжным бумом не осталась незамеченной отечественной читательской аудиторией, заметно повлияв на духовное формирование просвещенной части молодых россиян. И это только одна из книг, которую мне удалось «распознать» на книжных полках дома у Олега.

Но в какой-то момент я стал понимать, что философия – в том виде, в каком я ее чувствую, – не дает мне универсального ключа к постижению мира. Сфера прекрасного, система художественных приемов, в частности, оказались для меня более значимыми, чем философские категории. Как и в школе, на первый план выступило художественное слово. Великая литература, высокая поэзия стали превалять над остальным.

Такого поворота в разговоре я никак не ожидал и уж тем более не подводил к нему. К тому же я не мог предугадать ответов собеседника на свои во-

просы. А, во-вторых, непредсказуемость, а порой спонтанность самих ответов как-то вполне меня устраивала. И было при этом ощущение внутреннего ликования от выбора собеседника.

Сколько замечаешь за собой – а порой не находишь сил этому противиться, – как сам сбиваешься на заезженные, прессой ли, другими ли средствами массовой информации, тропы, и против воли начинаешь вписываться в какую-то усредненную социологическую схему. Ладно бы сам... Но беда в том, что невольно тянешь за собой и другого. И разговор, набирая обороты, невольно раскручивается по избитому пути.

Олег же искренне порадовал меня нетрафаретным мышлением. Он не подыгрывал своему vis-à-vis, а говорил именно *думая*. В легковесности его не заподозрил бы даже недоброжелатель, если б таковой и отыскался. Ты волен в том или ином соглашаться или не соглашаться с собеседником, а между тем, ловишь себя на том, что хочешь с ним именно согласиться.

Не потворствуя сидящему напротив него слушателю, Олег Погудин в разговоре ведет собственную, достаточно твердую линию, порою не вписываясь в заданные рамки именно потому, что ему просто-таки необходимо, едва ли не по Достоевскому, «мысль разрешить».

Слушать же Олега во время наших бесед было не делом и не долгом, а удовольствием. В первую очередь получаешь при этом наслаждение от русского языка. Это речь не литературная в чистом виде, но литературой насыщенная, когда ощущаешь крепкий ее настой – от выверенности ли слов, от взвешенности ли суждений или от спонтанно промелькнувшей аллитерации. Недаром Борис Пастернак неоднократно говорил, что «музыка слова состоит не в его звучании, а в соотношении между его звучанием и значением».